

«Человек-орудие» как метафизический тип

Лакей — интеллектуал

Русский философ Н.О. Лосский назвал отцеубийцу Смердякова воплощением идей плоского рационализма и «просвещенчества», существом, лишенным глубинного мистического опыта, признающим один лишь опыт материально-чувственного восприятия в его вульгарно-прагматических формах. Но это далеко не так. Смердяков отнюдь не однозначен. Его фигура скрывает нечто такое, что заставляет считать его таким же метафизическим персонажем, как и других героев-преступников Достоевского.

К постижению истинной сути природы Смердякова ближе всех оказался адвокат Фетюкович. По его определению, лакей — существо совсем не примитивное и не робкое, а напротив, решительно злобное, непомерно честолюбивое, завистливое и мстительное. В его беспокойном и чего-то ищущем уме присутствовала способность к созерцанию и пониманию многих весьма не простых вещей. И все это было окрашено настроениями необъятного и притом оскорбленного самолюбия.

Смердяков ненавидел свое происхождение от юрודивой Лизаветы Смердящей.⁵⁵ «Я бы на дуэли из пистолета

⁵⁵ В эпоху архаики у многих первобытных племен существовал обычай оценивать вступление в половую связь с физически и психически немощными уродами и сумасшедшими как нечто недопустимое и крайне позорное.

убил того, который бы мне произнес, что я подлец, потому что без отца от Смердящей произошел», — говорит он.

Он питает глубокое и стойкое презрение к своим простодушным воспитателям — Григорию и его жене. Его переполняет ненависть к России, и в этом отношении он — истинный сын своего отца, Федора Павловича. Старик Карамазов откровенничал: «А Россия — свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию». Смердяков, питающий те же чувства, мечтает о Франции, о том, чтобы уехать за границу и там «переделаться во француза».

Когда лакейская мысль выходит на всемирно-историческую арену, начинают рождаться сожаления о том, что Франция не победила Россию в 1812 году. Смердяков уверен в том, что если бы «умная нация» покорила «глупую», то установились бы несравнимо лучшие порядки.

Описывая внешность Смердякова, Достоевский подчеркнул, что тот походил на скопца. А это перекликается с христианским определением греха как неспособности родить жизнь, как бесплодия и бессилия, как готовности к разрушению и умерщвлению. Смердяков, рожденный в результате греха-преступления, сам стал носителем губительного, смертоносного начала. Своим рождением он умертвил мать, скончавшуюся при родах, а возмужав, убивает отца, чтобы затем повеситься самому.

Приближению трагической развязки во многом способствовало общение лакея с приехавшим из Петербурга средним братом Иваном. Своим напряженно-обостренным внутренним слухом Смердяков стал внимательнейшим образом воспринимать все, что шло от Ивана.

Издавна известен прием намеренной мысленной оговорки — *reservatio mentalis*. Он предполагает двуплановость, двусмысленность суждений, когда истинные смыслы пребывают в тени или же декорированы некими внешними

нейтральными рассуждениями. Смердяков почувствовал эту провокативную двусмысленность Ивановых рассуждений во время обеденных разговоров. Слыша неизреченное и замечая скрываемое, он одним из первых почувствовал в петербургском госте дерзкого «мыслепреступника».

У Достоевского есть примечательное высказывание о том, что многие люди не решаются на преступление потому, что «боятся какого-то обычая, какого-то принятого на веру правила, почти что предрассудка: но если б чуть-чуть «доказал» кто-нибудь из людей «компетентных», что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то все же «цель оправдывает средства», — если б заговорил кто-нибудь в этом смысле компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тот час же явились бы исполнители, да еще из самых веселых» (25, 46). В этом смысле Иван оказался для Смердякова просто находкой, поскольку взял на себя именно эту «компетентную» интеллектуальную работу, которую лакей самостоятельно никогда бы не осилил.

Но позволив Смердякову говорить с собой об отвлеченных, казалось бы, предметах, Иван не заметил, как роли господина и слуги трансформировались в роли учителя и ученика.

Считая себя солидарным с Иваном в своих тайных помыслах, Смердяков с готовностью предоставил тому возможность довершить разрушение абсолютных запретов в своей душе. Декларируемые Иваном принципы безверия и вседозволенности упали на благодатную почву и должны были дать всходы. Это было, в сущности, неизбежно, ибо «идеи заразительны... в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти

малограмотному существу, грубому и ни о чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием...» (24,51). В итоге не только слуга обогатился идеями господина, но и господин приобрел орудие осуществления своих замыслов.

То, что орудие оказалось одушевленным существом, одновременно и усложняло и упрощало задачу. У каждого орудия убийства есть своя логика существования. Предмет, находящийся в стороне от жизненных маршрутов человека, замышляющего преступление, может быть намеренно втянут в пространство новых для него отношений и смыслов и тем самым радикально изменить свою природу. Топор Раскольникова, пестик Дмитрия Карамазова, папье-маше Смердякова важны не тем, чем они являются по своей природе, а теми новыми ролями, которые им пришлось сыграть в координатах необычных для них систем человеческих действий и сопутствующих тем ценностей и норм. В эти предметы как бы вошли, какое-то время в них пробыли и оставили свой след ночные души нечестивцев. На них легли отчетливые печати мотивов, решений и поступков Раскольникова, Карамазова, Смердякова. Более того, они стали буквальным, физическим продолжением, удлинением и усилением человеческих рук, занесенных над жертвами. Предметы словно вынырнули из физического мира и попали в метафизическую реальность, где вещи не столько выполняют присущие им функции, сколько изменяют судьбы людей.

Обретая судьбоносность, вещи обнаруживают свой, до толе скрытый, метафизический потенциал и доказывают, что она, как и человек, являются обитателями обоих миров, физического и метафизического. А это, в свою очередь, заставляет относиться к ним гораздо серьезнее, чем как к простым, неодушевленным кускам материи, ибо че-

рез них метафизическая реальность открывает человеку свои неочевидные, ему дотоле неведомые смыслы.

Онтология вещи обнаруживается как внутренняя асимметричность, в соответствии с которой ее физическая ипостась может быть мала и конечна, а метафизическая — неисчерпаема в своем содержании и своих смыслах и потому до конца непостижима. Последнее обстоятельство заставляет относиться к вещи с позиций апофатизма — чтить живущую в ней тайну. Для этого ей совсем не обязательно быть чудотворной иконой или куском шагреновой кожи. Она может оказаться самой простой и незначительной, вроде обычного медного таза, как в истории с Дон Кихотом, или носового платка, как в трагедии «Отелло». Втянутая в пространство экзистенциальных смыслов человеческого существования вещь становится причастна к иерархиям абсолютных и относительных ценностей и норм, довлеющим над жизнью людей.

Нечто подобное тому, что происходит с вещами, совершается и со Смердяковым, превратившимся в «человека-орудие» Н. Лосский все-таки наполовину прав: Смердяков действительно до некоторого момента пребывал в плоскости материально-чувственных восприятий. Но став убийцей, он обрел совершенно другие черты. Побывав за страшной гранью, он вернулся из того темного метафизического пространства, где ничто не запрещено, уже другим существом. В облике вчерашнего «насекомого» появилось нечто «не от мира сего», обнаружилось что-то демонически высокомерное, поразившее Ивана и привнесшее в его отношение к лакею чувство робости и страха.

Смердяков, хотя и считает себя «службой Личардой» высокоумного Ивана, но отождествлять свою сущность только лишь с социальной ролью лакея не желает. Поэтому он по-своему «заявляет своеволие». Поначалу он пытается

переступить черту интеллектуального неравенства и начинает умствовать в присутствии господ. Затем, не довольствуясь ролью ученика, сам берется выступить в роли учителя. Он подыскивает себе ученика и делает из него «орудие» — учит Илюшу, как сыграть «зверскую шутку» с голодной дворнягой и стать ее убийцей.

Когда Митя, находящийся под следствием, заявил, что «отца черт убил», он был не далек от истины. Его слова означали, что Федор Павлович оказался жертвой некой темной метафизической силы. Дмитрий дал ей предельно краткое определение — «черт». Но ее можно было бы назвать и иначе. В лексиконе старшего сына, да и вообще в словаре Достоевского, не было понятия ночной души, что, однако, не мешало ни писателю, ни его героям пребывать в постоянном тесном общении с нею. И Федора Павловича убила, конечно же, ночная душа. Точнее, он стал жертвой трех ночных душ троих своих сыновей — Дмитрия, Ивана и Смердякова. Каждая из них внесла свою лепту в отцеубийство, возродив тем самым древний эдиповский сюжет. Каждый из сыновей нес в себе какие-то осколки эдиповского начала: Иван разгадывал загадки, Дмитрий демонстрировал сцены сексуального соперничества с отцом, Смердяков выступил в роли реального, практического убийцы.

Смердяков как Хам и Каин

В Смердякове нашли свое воплощение не только античная эдиповская мифологема, но и еще две, уже библейские, ветхозаветные мифологемы — «хамства» и «каиновой печати». С библейским Хамом его роднит пренебрежение ко всему, что его породило — матери, отцу, воспитавшему его Григорию, к стране, где ему довелось поя-

виться на свет. Достоевский не случайно наделил его фамилией, производной от старинного слова «смерд», т. е. слуга, лакей, раб. В прошлом на Руси лакеев нередко называли хамами и с тех пор между словами «смерд», «лакей» и «хам» существуют отношения синонимии. В случае со Смердяковым первое слово высвечивает его природную, наследственно-родовую сущность, второе — его низкое социальное положение, а третье характеризует его с моральной стороны.

Слившись, несмотря на внутренний протест, со своей социальной ролью слуги, ощущая, что маска лакея к нему приросла, и что выбраться из этого плена предзаданной роли и маски ему не удастся, Смердяков во всех своих ипостасях остается неизменным существом, источающим социальную зависть и озлобленность. Это, по сути, человек толпы и толпы преступной. Таких людей, пишет Достоевский, развелось в наше неустойчивое время чрезвычайное множество. Они досаждают: «“Зачем, дескать, везде они, а не я, зачем не обращают и на меня внимание”. В этом состоянии личного раздражения и неудовлетворенного, так сказать, идеала иной господин готов подчас взять спичку и идти зажигать — до того это чувство мучительно... Но зажигать спичкой уже крайность и, так сказать, удел натур могучих, байроновских. К счастью, есть выходы не столь ужасные для натур не столь могучих. Такой выход — просто напакостить, ну там наклеветать, налгать, насплетничать или анонимное, ругательное письмо опустить» (25, 127).

То, что совершил Смердяков, свидетельствует о том, что он — натура отнюдь не мелкая и не плоская. Увидеть в этом «бульонщике», кажущемся, на первый взгляд, робким и жалким, страшное brutальное начало позволяет мифологема «каиновой печати».

Далеко не каждый человек способен взрастить в себе внутреннюю готовность к убийству. Но Смердяков обнаруживает себя именно таким. Это один из немногих героев Достоевского, совершенно лишенный такой метафизической субстанции, как дух. Его ночная душа безраздельно господствует над его существом и не встречает никаких препятствий на пути демонстрации своих разрушительных вожделений.

Смердякова роднит с библейским первопреступником Каином, прежде всего то, что оба они родились в результате нарушения абсолютного, идущего свыше запрета. Бог не велел Адаму и Еве вкушать от древа познания добра и зла, предупредив, что вкусивший «смертью умрет». Но запрет не подействовал, грехопадение совершилось, и в итоге был зачат первопреступник, первоубийца Каин.

Равным образом никто не смел посягать на девственность юродивой Лизаветы, находившейся, как и все убогие, под прямым покровительством Бога. Последствия такого посягательства никак не могли быть благими.

Когда первенец библейских прародителей вырос и возмужал, Бог стал увещевать его, что, мол, если грех лежит у дверей и влечет к себе, то «ты господствуй над ним» (Бытие, 4, 7). Но Каин оказался не в состоянии господствовать над собой. И поскольку его «я» ему еще не повиновалось, то обнаружилось, что в духовном, нравственном смысле он пока еще «недочеловек». По этой причине Бог не стал наказывать его за братоубийство в соответствии с принципом талиона, т. е. «смертью за смерть», а только осудил на изгнание.

Однако Каину и это наказание показалось излишне суровым. Страх лишиться защиты со стороны близких, остаться вне покровительства Бога, ощущение брошенности и одиночества, боязнь, что теперь он может погибнуть от

любой, самой малой внешней напасти, заставили его взмо- литься: «Наказание мое больше, нежели снести можно». И Бог решает сжалиться и отмечает Каина особой печатью — знаком своего покровительства. Печать требовала, чтобы его не убивали, а всякому, кто посягнет на жизнь Каина, обещалось отомстить «всемеро».

Символическая «каинова печать» оказалась с самого начала амбивалентна по своему смыслу. С одной стороны, это был знак того, что Бог не оставил заблудшую душу, не лишил ее своей благой опеки, а значит и возможности нравственного возрождения. Но с другой стороны, та же «каинова печать» — метафизический знак способности данного человека на личное беззаконие. Это символ жизни, оскверненной тяжким грехом, осененной темным опытом совершенного преступления. То есть символ того, что человек побывал за чертой абсолютного запрета и тем самым отторгнул себя от других людей, для которых этот запрет свят.

Каин, убив Авеля, переступил роковую черту и буквально стал «переступником». И в этом он оказался истинным сыном своих родителей, которые также переступили через запрет, исходящий от Бога. За грехопадением отца с матерью последовало грехопадение сына. И в обоих случаях люди, продемонстрировавшие свою трансгрессивную природу и заявившие своеволие, обрели знание особого рода. Это было знание о запредельном, которое можно обрести только одним способом — переступив черту, отделяющую допустимое от запретного.

На Смердякова в результате отцеубийства также легла «каинова печать». Выступив как слепое орудие воздаяния насильнику за его кощунственное преступление, он сам стал иным. Внутри него словно отворились прежде запертые ворота, и его дух обрел через открывшийся вход сооб-

щение с метафизическим миром. Бог потому и не оставил отцеубийцу, несмотря на чудовищность его преступления. Доказательством тому служит то, что в краткий жизненный отрезок между преступлением и самоубийством в Смердякове возникает вера. Она величиною даже не с горчичное зерно, а гораздо меньше. Это всего лишь какой-то «атом» веры. Но именно эта малая крупица заставляет его расстаться с деньгами, с мечтой разбогатеть и «стать французом». Она заставляет убийцу обратиться к книге святого Исаака Сирина, молившегося за всех живых существ и даже за бесов, в надежде, что и за него, Смердякова, в которого вселился бес тяги к насилию, тоже кто-нибудь когда-нибудь помолится.